8. *Никто-не.* Два кошмара. (Набросок) // Уральская жизнь. 1917. № 196 (28 нояб.). С. 3.

9. *Никто-не.* В марте и в ноябре // Уральская жизнь. 1917. № 198 (30 нояб.). С. 3.

10. *Никто-не.* Отзвуки дней. 2. Смотрите здесь, взгляните тут // Уральская жизнь. 1918. № 5 (6 янв.). С. 2.

11. *Никто-не.* Отзвуки дней 1. Мир подписан // Уральская жизнь. 1918. № 44 (24 февр. (9 марта)). С. 2.

12. *Никто-не.* «Куда их нелегкая гонит?» // Уральская жизнь. 1918. № 109 (6 июня (24 мая)). С. 2.

13. *Пермский В.* Отзвуки дней. 3. Грядущее // Уральская жизнь. 1918. № 33 (24 (11) февр.). С. 2.

14. *Садко Н. И.* Альбом открытых писем. II. «Смахнув прилив минутной грусти…» // Уральская жизнь. 1906. № 198 (13 сент.). С. 3.

И. Е. Васильев (Екатеринбург)

Модернистские мотивы в поэзии Урала 1917–1922 гг. (на материале периодических изданий)*

Поэзия периода революций 1917 г. и гражданской войны, известная по периодической печати, отличалась крайней политизированностью. В ней преобладало публицистическое начало: «красные» и «белые» отстаивали свои интересы, представляя собственную деятельность как позитивную, отвечающую потребностям истории и народа, обрушивались на врага с критикой и обвинениями. Но была и пресса либерального толка. Заявляя о своей внепартийности, она явно сочувствовала «белому» движению.

Неполитизированная поэзия на Урале тех лет публиковалась на страницах литературного сборника «Молодая Русь», вышедшего в 1919 г. в Екатеринбурге, в журналах «Лесное эхо», «Уральское хозяйство», «Уральский кооператор», «Уральский печатник», на полосах

* Статья выполнена в русле проекта РГНФ № 16-14-00118 «На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX – первой трети XX века».

© Васильев И. Е., 2017

либерально-демократических газет «Уральская жизнь», «Наш Урал», «Народная газета», «Зауральский край» и др. Ее создатели выступали пацифистами и осуждали насилие, жестокость, которые несла с собой гражданская война: «Словно тесен нам мир, за кровавый кумир, / То за флаг, то за блеск королевских порфир / Заливается мир братской кровью» [2, кн. 1, с. 108]. Публицистике они противопоставляли духовные ценности, ратовали за художественность, в границах своих возможностей стремились к поэтическому совершенству.

Неангажированная поэзия опиралась на реалистические традиции, но охотно прибегала и к наработкам модернизма конца XIX – начала XX в.

Для иллюстрации уважительного отношения уральских поэтов к модернистам-классикам приведу выдержки из стихотворения В. Буйницкого «К. Д. Бальмонту». Автор не жалеет словесных красок, живописуя талант своего кумира. Его панегирик разрастается до размеров довольно протяженного стихотворения, построенного на преувеличенно громких комплементах: «О, великий Бальмонт! О, кудесник и маг!.. / О, волшебник слов ярких, изысканных, сказочных!..». В. Буйницкому представляется, что поэзия Бальмонта находит себе отзвук в самых разнообразных вещах и явлениях: в ветре, трелях соловья, музыке, грозе, в сказках детства, в солнце и т. д. «Ты метель, солнца луч, дождь и гром!» [1, с. 27], – заключает поэт свой перенасыщенный похвалами опус.

В чем же выразились модернистские веяния в поэзии Урала рубежа 1910–1920-х гг., если говорить об их проявлениях в структуре произведений? Во-первых, в использовании излюбленных модернистами стихотворных форм и образности (сонетной композиции, триолета, рондо, контрастности, музыкальности ритма и пр.), во-вторых – в интересе к характерным предметно-тематическим областям, выступающим в качестве мотивных комплексов. В данном сообщении нас будут интересовать именно последние.

Уже сам выбор изображаемых предметов и аксессуаров, соотносимых с роскошью, раритетностью и вообще всем изысканным и необычным, свидетельствовал об эстетстве поэтического слова в духе Игоря Северянина: «У зеркала на белом туалете, / Среди флаконов с гранями мечтательных духов, / Среди таинственных реликвий и эмблем, / Затих букет кудрявых хризантем… / Им душно здесь в уютном будуаре…» [3, с. 12]. Флаконы, эмблемы, хризантемы, будуар… Изящные предметы дополнялись другими «изящными явлениями», и тогда появлялись феи и фавны, завораживали своей волшебной красотой сны и грезы, сказки и мечтания: «Звезды, точно лица нежных серафимов, / В задремавших

травах шепот тихих фей … / Я хочу забыться в ласковых отравах / Грациозных сказок алых, детских дней» [3, с. 13].

Показателен мотив загадки, скрывающей за обыденностью волнующую тайну: «Загадка не разгадана – / И тлеют тленом ладана / Мечты и явь и сны» [3, с. 13]. Так в текст вводилась иная реальность, свидетельствующая, что символистское двоемирие продолжает интересовать поэтов: «В душе тоска и зов в родной чертог. / Но неизвестен путь в неведомые дали / Сквозь тусклые огни, горящие во мгле…» [7]. В дихотомии земного и небесного потустороннее становилось манящей далью, наподобие сологубовской вечной и счастливой страны Ойле, освещенной чудесным светом звезды Маир: «Знай, – земля только духу опора / Для полета в небесные страны» [2, кн. 2, с. 84].

Однако чаще побеждала жизнь земная, несовершенная и жестокая. Отсюда возникало чувство неверия в созидательные возможности России: «И снова Родину я чую – / Распятой в муках на кресте / И скорбь и муку мировую – / По неудавшейся мечте» [2, кн. 1, с. 259]. Восприятие подобного плана приобретало апокалипсическую окраску, как в стихотворении А. Смарагдова, знаменательно названном «Под знаком зверя». Путь народа «к совершенству» оказывался устланным смертями, закрыт «непроходимой тьмой»: «Забыто званье “человек”, / И брат, как зверь, съедает брата. / О, старый мир не знал вовек / Такого адского разврата!» [2, кн. 1, с. 250–251].

Поэтическая историософия обнаруживала мрачный мистический характер: «Часы Истории – зловещие часы, / Слепая стрелка к полночи близка» [5, с. 121]. «Полночь» – это время пробуждения потусторонних сил, опасных для человека и человечества. Вырвавшиеся на волю, они подчиняют себе весь мир, наполняют его всесильным злом: «Безумный мир, кровавый мир… / Мир казней тяжких и страданий, / Где нагло царствует вампир, / Не слышит стона и рыданий» [2, кн. 2, с. 8].

Завороженность потусторонним мотивировала инфернальное и демоническое, которые присутствуют в образах красоты, любовных проявлениях и взаимоотношениях с миром. Приведу пример, в котором любовный экстаз вполне в декадентском духе соединяется с ночным и дьявольским началом. Стихотворение П. Петрушина, помещенное в журнале «Русское приволье», названо весьма показательно – «Оборотень»: «Поздней ночью я украдкою / Проскользну из тьмы лесной, / Лишь ступени скрипнут шаткие / Под неслышною ногой. / Будет горько пахнуть смолами / На устах моих роса, / Поцелуями веселыми / Я сомкну твои глаза. / Снова мною околдованный, / Страстных ласк узнавши дрожь, / Утомленный, зацелованный, / К утру стихнешь и заснешь, – / И в лучах

зари сияющей / Ты опять, как много раз, / Не увидишь, засыпающий, / Блеска светлых рысьих глаз» [4, с. 2].

Последователи, а вернее сказать, эпигоны символизма, устремлялись к ирреальному («Я грустил, я томился о многом, / Недоступном, неведомом нам…» [3, с. 12]), ставили перед собой непомерно большие задачи: «Хочется высказать страстную душу. / Ту сокровенную тайну мечты, / Жажду красы, безнадежности муку, / Света крушенье, хаос темноты» [2, кн. 1, с. 88]. Однако чаще возникало ощущение невыразимости сущностного, представленной в мотиве немоты: «…обреченная томиться на земле, / Душа живет в молчанье и печали» [7]; «Какая нега / В безмолвном гимне… / Немая сказка. / Немые сны…» [2, кн. 2, с. 49]; «Молчи. Не нужно слов. Не выскажешь страдание словами… / <…> Молчи. Слова – обман, мертвы и холодны, как камень» [8, с. 14].

Неосуществимость упований, разлад мечты и действительности порождали стенания и жалобы: «Моя жизнь – это море страданий, / Потонуло в нем счастье давно» [2, кн. 1, с. 254]; «…душа / И грустит, и о чем-то рыдает» [2, кн. 2, с. 185]; «Завяли, засохли любимые розы, / Угасла разбитая жизнь моя. / И лучшие годы, могучие годы / Ушли безвозвратно теперь для меня» [2, кн. 2, с. 5]. Распространяются декадентские мотивы тоски, безысходности, одиночества, неприкаянности: «Мои песни без слов… Это вопли души, / Одинокой, покоя не знавшей… / Где-то там, далеко, были розы свежи, / Но души не коснулись уставшей…» [2, кн. 2, с. 14]; «Тоска опять… Мучительные думы / Вновь крепко завладели сердцем и душой, / И призрак смерти, хладной и угрюмой, / Как неизбежный рок, зареял надо мной» [2, кн. 2, с. 87]. Формируется реакция отторжения и замыкания в себе, интеллектуальной рефлексии. Модернистская концепция мира и человека фиксирует лихорадочное восприятие действительности («Мозг горит, как в огне; мысли мчатся, как рой…» [2, кн. 1, с. 45]), кризисное, болезненное состояние духа («Мой мозг болит. Душа тоской объята. / Безумен ум. Нет веры прошлых дней» [2, кн. 1, с. 25]), раздвоенность сознания и противоречивость поведения («Хочется плакать, а только смеешься!.. / Хочется верить – нет веры в груди!» [2, кн. 1, с. 88]).

Желание отдалиться от травмирующей реальности инспирировало разрыв с действительностью: «Опостылел мне мир, полный страсти пустой, / Мир несбыточных гордых стремлений. / Мне б уйти от него на простор золотой, – / Далеко от людских треволнений» [6, с. 15]. Распространенным коллективистским интенциям модернистски ориентированная поэзия противопоставила тягу к индивидуалистической уединенности поэтического сознания. При этом происходило движение в область

замкнутого, отгороженного от повседневности мира фантазий. Так, лирический герой В. Макеева с горечью признается в стихотворении-параболе «Карточный домик», что он «выстроил карточный домик» «для двоих». В этом «домике-дворце» можно было бродить по залам, слушать музыку, любоваться фонтанами. Но мечты рухнули под натиском грубой реальности, и «дворец» распался в сопровождении рыданий незадачливого архитектора-строителя [2, кн. 1, с. 100–101].

В развитие подобных настроений появлялись идеи эскапизма. Мотив ухода материализовался в сюжетах бегства: во-первых, бегства в сказочный, волшебный мир: «До боли хотелось мне с ними умчаться / В чудесный, неведомый край, / Где жизнь будет милой, прелестною сказкой, / Как вечно смеющийся май» [2, кн. 2, с. 103]; во-вторых, такой романтический способ решения проблемы дополнялся руссоистским вариантом побега на лоно природы: «Под узорным шатром лап зеленых / На душе так легко… / От людей далеко, / Здесь со мной только сосны да ели» [2, кн. 2, с. 94]. Следующий сюжет – гедонистический – дарил забвение невзгод благодаря любви: «Я хочу жить, как ты, как другие, / Безрассудно и страстно любить, / В твои очи смотреть дорогие, / О страданиях прошлых забыть. / Да… забыться в объятиях нежных / Среди ласк, поцелуев твоих…» [2, кн. 2, с. 175]. Наконец путем в нирвану становилось и творчество: «И помыслы буден стирались, / Бледнел повседневный кумир, / Иные пути открывались, / Иной неизведанный мир…» [2, кн. 1, с. 189]. Первый сюжет порождал поэтические *легенды*, стимулировал развитие *сказочно-фантастических* жанров, второй – формировал *идиллию*, *пасторальные* жанры, третий – открывал путь вариантам *любовной лирики*, четвертый – утверждал эстетические ценности в жанрах *раздумий*, *философских рефлексий*.

Таким образом, в уральской поэзии периода революции и начала 1920-х гг. развивался комплекс мотивов и интенций, свойственных модернизму начала века. В силу психологически-кризисного отношения к действительности в целом, отчуждения от жизни и душевной опустошенности предмет такой поэзии связывался с угасанием, распадом, умиранием. Эстетской поэзии последователей декадентов свойственны рафинированность, культ чувственной красоты. Разрыв с действительностью уводил в царство несбывшихся снов, тщетных надежд и невоплотимых мечтаний. Содержание поэзии определялось стремлением в область «нездешнего мира», неизведанность которого составляла пленительную и тревожащую тайну. В своих фантазиях и грезах одинокие души поэтов устремлялись в таинственные, иррациональные области бытия. Неизбывная драма человеческого существования с беспощадной жестокостью обнаруживала

трагическое одиночество человека, слабость перед слепыми силами рока, эроса, смерти. Поэтам открылось, что человек живет в неведении, страхе, его существование эфемерно, а радости мимолетны и преходящи. Ощущение собственной заброшенности, бренности бытия и тщетности попыток обрести гармонию формировало амбивалентный характер художественной мысли. Вместе с тем опора на модернистские мотивы помогала открывать и использовать новые жанрово-тематические возможности литературы.

Список литературы

1. *Буйницкий В.* К. Д. Бальмонту // Декапод (Екатеринбург). 1920. № 3.

2. *Голдин В. Н.* Поэзия гражданской войны в периодических изданиях Урала: 1917–1919 годы : в 2 кн. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2006. Кн. 1. 271 с.; Кн. 2. 227 с. (Литературное наследие Урала).

3. Лесное эхо : ежемесячный науч.-популярный и лит. журн. (Екатеринбург). 1918. № 2.

4. *Петрушин П.* Оборотень // Русское приволье (Пермь). 1919. № 3.

5. *Радомирский Е.* Часы истории // Уральское хозяйство (Екатеринбург). 1918. № 17.

6. *Сазанович А.* «Далеко, далеко, там, где волны шумят…» // Уральский кооператор (Екатеринбург). 1919. № 4/5.

7. *Шумский В. М.* «Есть жизнь, и есть преддверье жизни…» // Наш Урал (Екатеринбург). 1919. 23 февр.

8. *Шумский В. М.* Молчи // Лесное эхо. 1919. № 5.

В. М. Ванюшев (Ижевск)

Венок сонетов Гая Сабитова «Шунды но льужа но…» («Солнце заходит – солнце встает…»): опыт анализа лирического сюжета

В советское время в преподавании литературы долгое время считалось, что *сюжет* присущ произведениям только эпического и драматического родов. Несколько лет тому назад, когда автор этих строк работал

© Ванюшев В. М., 2017